

Алесь Адамович

Сыновья уходят в бой (фрагмент)

*Потухай, вечерняя заря, потухай,
Залегай, хлопцы, по оврагам, залегай!
Долго, долго заря не потухала,
Партизанскую беседу услышала:
«На зеленом болоте орленку не жить —
Удалой тебе головы, сынок, не сносить.
Удалую голову высоко не подымай,
Родимую матушку не забывай...»
Пулеметная очередь часто застрочила,
Молодая березка листочек уронила.
Молодая березка зазеленеет опять...*

Из народной песни

Часть первая

Уже шестнадцать

I

Толстые темные ели как часовые. Будто передают тебя от поворота к повороту. Толя остановился у соснового пня, облитого льдом. Ничего площадочка – хату можно поставить! И как только спилили этакое деревце. Стал на пень, прошелся. Четыре шага. Посмотрел на облака, пробегающие в небе. Глянул на уходящую вдаль просеку. Так и кажется, что проложила ее рухнувшая сосна.

– Силен лес! – похвалил и как бы похвастался Коваленок.

Силен, конечно. Но было бы удивительно, если бы партизанский лес был обычный. А Ковалёнок здесь как дома, позавидовать можно. Полушубком где-то разжился, полы широкие, а выше – как раз по его девичьей талии. Шагает, сбивая каблуками хромовых сапог звонкие комочки мерзлой грязи, льда. И сам – звенящий, поскрипывающий: опоясан ремнями, украшен пряжками, даже свисток зачем-то на груди болтается. И ямки у рта, и шутовские усики-ниточки – все такое разванюшинское, знакомое.

Началась грабовая роща. Сразу посветлело в лесу. После хвойной зелени сучья граба такие голые, мертвые. Голубоватая и

будто с подтеками кора заставляет вспомнить открытые всем дождям холодные печи в сожженных Вьюнах. Там Толя жил последние две недели. А где-то в Лесной Селибе помнят, думают о нем, как о настоящем партизанине.

Проревел совсем недалеко самолет, высыпал крупную пулеметную дробь.

– Начинается, – говорит Ковалёнок, сразу загораясь.

Все-таки хорошо, что Толя уже в партизанском лесу. И пост остался позади. Тут можно быть спокойным: партизаны знают, что надо делать, когда немцы близко.

Впереди заиграл просвет. У дороги собралось несколько неприбранных мартовских березок. Кажется, они сбежались, а потом удивленно расступились, образовав круг. А в кругу на обледенелых прошлогодних листьях, чернеющих в ноздреватом, как обсосанный сахар, снегу, играют солнечные блики. Показалось даже – звенят.

Из-за поворота на дорогу вышел человек с автоматом под локтем, остановился, кого-то поджидая. Очень бледное лицо человека кажется совсем меловым от спадающих на лоб из-под кубанки волос, от черного мазка квадратных усиков. И в одежде он такой же черно-белый: короткая, отороченная белым мехом венгерка, белая кубанка с черным верхом, темное галифе.

Глаза выпуклые, черные до блеска.

Толя уже видел однажды эти горящие выпуклые глаза. Это Сырокваш, начальник штаба.

Мимо пробежали двое с винтовками на весу. А из-за поворота идут и идут партизаны. Толя с гордостью отмечает: много пулеметов. У рослого пулеметчика, посмотревшего на Толю, красивая черная борода, хотя лицо румяное, молодое.

– Откуда, Разванюша, немцев ведешь? – спрашивает у Коваленка Сырокваш, и на лице его вспыхивает короткая усмешка. Толя с готовностью ответил на улыбку партизана. О, Толя понимает, как это хорошо – идти навстречу бою и шутить.

– Разрешите с вами! – выкрикнул Коваленок. Зачем-то поправил белые отвороты хромовых голенищ: можно подумать – его пригласили в круг танцевать.

У Толи нет оружия. Кроме того, его ждут в лагере...

– Иди, наш будан¹ первый, – говорит Коваленок.

¹Шалаш (бел.)

Где-то на краю леса снова взревел самолет, сбросил бомбы, эхо закричало и понеслось по лесу. Совсем недалеко отстукивает короткие очереди пулемет.

Мимо уже бежали. Вот и Комлев, дядька Разванюши, грузный, с тяжелым взглядом. Алексея не видно.

Сразу за поворотом большущий шалаш из побуревшего елового лапника. Вот оно – партизанское жильё. Толя несмело заглянул в огромный будан.

По обе стороны – отгороженное бревнами место, где спят. Цветные домотканые постилки, серые и зеленые немецкие одеяла, тулупы, ватники. В дальнем углу – ярким пятном – светло-желтое стеганое одеяло. Толя сразу узнал свое и обрадовался, будто знакомого увидел.

А в проходе, в трех местах – толстые обгоревшие березовые плахи. Видно, что костры наскоро присыпали снегом, и они все еще тлеют.

Закинув голову, Толя смотрел на гирлянды сажи, колеблющиеся от теплого дыма. Грубо, огромно, неудобно и захватывающе – как замок!

Потрогал ствол станкача, прикрытого красной попоной. Прошел в глубь будана. Шаги у входа. Повернулся – мама!

Обрадовалась и напугалась:

– Вы там шли, немцы там!..

В плюшевой жакетке, в сапогах, без платка. Лицо незнакомо молодое. И очень озабоченное. Как будто она все еще в Лесной Селибе – окно в окно с комендатурой, как будто не позади все самое страшное!

– Ноги промокли?

Ну, допустим, промокли. Но из-за этого такой озабоченной быть?

– На – сухие, – говорит мать, доставая из вещмешка чистые портянки. – Как это мы не сообразили хоть сапоги хорошие сделать. Все оставили, как в гости шли.

– Сапоги – подумай! Достают же. Немецкие.

– Это дома все так казалось.

Про Алексея сказала тихо:

– Ушел на железную дорогу. С Пахутой, с подрывниками.

Взяла из угла санитарную сумку, раскрыла. Толя заглянул:

– О, индивидуальные пакеты! Я возьму.

– Зачем? – даже сердито сказала мать. Но тут же подала перевязочный пакет.

Толя прикинул, что ему, сыну, можно и больше.

– Два возьму.

Мать молчала, только как-то странно смотрела на руки Толи, который с удовольствием ощупывал плотные провощенные пакеты.

Подумала вслух:

– Сегодня одиннадцатый день, как пошли на железную дорогу.

Мама уже вся в том, особенном мире, где, Алексей, некий Пахута, где Сырокваш и все, кто бежали навстречу выстрелам.

– Я в санчасть. Немцы близко. Переобуйся.

Толя быстро сменил портянки, еще раз – уже по-хозяйски – осмотрел станкач, и вышел.

Стрельбы не слышно... В голубом небе легкие комочки облаков. И, кажется, потеплело. С черных от сажи сосуллек, свисающих над входом в будан, каплет. Толя подставил ладонь: светлая водичка, а в ней бегают сажинки.

По дороге, мелькая за соснами, едут верховые. Передний – круглолицый, полноватый. Воротник – каракулевый, кубанка – тоже. Пришпорил коня, и сразу стало заметно, что ездит плохо: автомат бьет по груди. Двое задних сидят на лошадях ловко, легко. У каждого к ноге пущена длинная сверкающая цепочка от пистолета.

Совсем недалеко ухнула бомба или мина. Эхо прошелестело в вершинах и унеслось.

Толя пошел по глубоко протоптанной снежной дорожке. Везде горбятся буданы. А вот это – кухня. Костры присыпаны снегом. Две женщины чистят картошку и бросают в железную бочку. На жерди висят котлы – два больших и один поменьше.

Толя стесняется подойти к кухне поближе: удивятся – откуда такой!

Из будана вышел мужчина, над плечом, как гитару, держит большущий кусок мяса – коровью ногу. Наверно, повар. Бросил мясо на пень и взялся за топор. Лицо у повара сердитое и как бы обиженное. И странно красивое. Даже непонятно: зачем мужчине такое красивое лицо? Удивительно голубые глаза, будто ободком обведена эта голубизна. Капризно-сердитое выражение тоже словно нарисовано на лице, и кажется, что ничего другого оно не способно выражать.

Снежная тропинка вывела Толю к штабелю полусгнивших, будто сросшихся, березовых и осиновых плах. Слежавшийся штабель привалился к сосне. Необыкновенно толстая сосна, а глянешь по стволу – стройная, летящая... Если долго смотреть, начинает казаться, что взлетающий ствол поднимает, уносит и тебя.

Делая метки на коре, темной, потрескавшейся, будто куски торфа, Толя принялся считать обхваты». Пять! Услышал скрип снега.

– Менш! – крикнул по-немецки человек, чем-то очень знакомый, и тут же спокойно поинтересовался: – Ты кто такой?

Толя покраснел от того, что чуть не сорвалось: «Моя мама здесь». Но что еще сказать о себе, он не знал и потому молчал. На голове странно знакомого незнакомца новенькая фетровая шляпа. Рука, обмотанная бинтами, – поперек груди, как автомат. Толя где-то видел, помнит эти беспокойные, веселые и одновременно пустоватые глаза, это гримасничающее лицо. Ну конечно же Баранчик! «Брандахлыст» – так его окрестил дедушка, когда Баранчик заделался селибовским бургомистром, бегал, орал, тарачил глаза. А потом исчез, оставив в дураках коменданта и полицаев... И вот он здесь, и Толя тоже здесь. Партизанский лес – самое фантастическое место на земле. Не удивишься, наверно, если давно умершего здесь встретишь.

– Ага, – догадливо произнес Баранчик, плюнув вслед окурку, – Корзунихин.

И пошел по снежной дорожке: Толя – следом за ним туда, где мама и толстая женщина выколачивают одеяла.

– Ка-ак вы-ыросли ваши! – певуче удивилась тяжелая на вид, но быстрая в движениях женщина, когда Толя приблизился. – Почти как мой Митя! А мама у них такая молодая!

– Я сейчас, Пашенька; – сказала мама и передала концы одеяла Толе. – Помогай!

Ушла, кажется, мало заботясь о том, что Баранчик да и другие могут подумать, что Толя затем и в лагерь явился, чтобы выколачивать пыль из тряпья. Женщина, энергично встряхивая одеяло, разговаривает с Баранчиком.

– Завтрак, Мишенька, остыл, где ты все ходишь?

– Половец обещал голландского сыра привезти. И французского вина.

– Привез бы голову Половец твой!

Баранчик исчез в темном будане, и сразу там послышались выкрики, смех.

Женщина сложила одеяла, нагрузила и Толю.

В этом будане прежде всего замечаешь вделанное в заднюю стенку окно. Обыкновенное окно. На здесь, в лесу, оно кажется такой роскошью. Не костры, а две жестяные бочки с выведенными наружу трубами.

Баранчик и партизан с белой – в бинтах – головой сидят у печки.

Толя стоит, не знает, что делать с ношей.

– Клади на нары, – пропел голос сзади, и сразу все ожило. Толе показалось, что маятник ходиков только теперь размахнулся и затакал. И сразу партизан в бинтах из страшного сделался смешным. Из-под повязки торчит рыжий клочок волос, нос – толстый, посапывающий, а глаз, не закрытый повязкой, – веселый.

– Паша, – прокричал Баранчик, – когда Лысого бинтами обматывали, там голова была? Или не заметили?

Из-под бинтов отозвалось:

– Поищи у себя под шляпой.

– Менш! – захохотал Баранчик.

На дворе нетерпеливый голос:

– Где же он?

Надя. Толя заспешил из будана.

– Как мои маленькие? Ты давно был в гражданском лесу?

Толя старается убедить тревожные глаза женщины, что в гражданском лагере не опасно. Надя напряженно слушает, но не Толю, а недалекую стрельбу.

... И вот появились *оттуда*, из боя. Не слезая с лошадей, разведчики раздаривают улыбки, новости. Оказывается, окончилось все удачно. Немцы и бобики возвращались из горящей деревни, тут их и встретили. Полицаи рванули в обход засады, по болоту. И немцев своих бросили. Только начальник полиции с немцами остался. Его подстрелили, живьем взяли.

Партизаны затопляют лагерь, лес наполняется голосами, смехом, как гулкий просторный дом, в который воротились хозяева.

Постепенно скапливаются у штаба – будана, который чуть поменьше и поаккуратней остальных. Сюда привезут начальника полиции.

На выбоинах телегу встряхивает, человек в зеленом мундире, напряженно приподнимаясь, стонет громко и протяжно. Глаза его будто забегают вперед, испуганно ищут что-то и не находят. Ни на одном лице не могут задержаться. Штанина разодрана, волосатая нога дрожит крупной дрожью. Чуть ниже колена – кровавое пятно. Подумалось вдруг: человек, который лежит на возу и смотрит на партизан, сегодня утром, поднявшись с постели, считал, что начался обыкновенный день. Умывался, сидел за столом, шел по деревне – уверенный, сердитый. Как же – начальник полиции! А потом вел своих бобиков в Зубаревку, из окон на него смотрели с ненавистью и страхом. И не думалось ему, что в какой-то миг, но сегодня, именно сегодня, все вдруг исчезнет и останется только он и вот эти люди, которые сейчас рассматривают его, – партизаны. Вся та жестокая, свирепая сила, которой он служил, ничего не значит теперь. Значение имеет лишь то, о чем он старался не думать, с чем отвык считаться: как на него смотрят люди, которым он был свой (когда-то был). С отчаянной настойчивостью липнет он глазами к жестоко-веселым лицам, спрашивает:

– Вы меня убьете?

Толю тронули за плечо. Застенчиков! Настоящий партизан: винтовка, зеленая сумка от противогаса и еще одна – из кирзового голенища. С трофеями вернулся из боя. Правда, по обыкновению, чем-то недоволен, белый до прозрачности нос его морщится. Толя обрадовался, что встретил знакомого, что может подробнее разузнать о засаде.

– Было, – протянул Застенчиков. – Надо идти пожрать, а то посуду расхватывают.

– А это кто? – прошептал Толя, когда к подводе приблизился человек в кожанке с каракулевым воротником. Толя уже видел его – в седле. Мягколицый, глаза светло-голубые. Внешность человека очень добродушного.

– Колесов, командир.

Нет, Толя не был разочарован. Он мигом увидел в полном добродушном человеке то, что необходимо командиру партизанского отряда: спокойную отвагу, твердость. И уже во все глаза смотрел на Колесова.

В будане обедают. Жирный мясной суп и тонкий ломтик гречневого хлеба.

– Это Анны Михайловны сынок?

Щека у партизана, который остановился перед Толей, синяя, посеченная порохом, на широких плечах что-то напоминающее морской бушлат, брюки широченные и, кажется, даже отглаженные. Это Зарубин. Еще когда шли, ехали из Лесной Селибы в партизаны, Толя видел этого парня и потому считает, что знаком с ним.

– Толковый у тебя братишка, – говорит Зарубин, – он на железку пошел с Васей-подрывником. Знаешь? Ну-ну. А где мой трофей? Ну и фрицы, с одеялами в бой ездют!

– Парус, Петя, кроить будешь? – отозвался одетый во все немецкое партизан. Он щупловат, усмешка не согревает его помятое и пятнистое лицо, а, наоборот, делает еще более неласковым. – Ленты приточи к своей кепочке, а то девки за фезеушника принимают.

– Ладно тебе, Носков, – говорит Зарубин и поправляет фуражку с оторванным козырьком, которую, видимо, следует считать бескозыркой. – Обождите, – говорит «моряк», – скоро полосушку заимею. У Анны Михайловны видел – выклянчу.

«Моряк» весело глядит на Толю, а тот очень доволен, что Алексеева тельняшка понравилась партизану, наверно очень храброму.

Носков выловил из котелка кусок мяса, долго жевал его, потом выплюнул в костер. Принялся намазывать на хлеб масло из оранжевой трофейной баночки.

– И когда уже волов этих доедят лагерные придурки? Кожемит. Постарались на свою голову. Пусть бы жрали немцы, скорее бы подошли.

– Соскучился по поросятнике? – спросили у Носкова. – А баранинки из-под дуги не хотел?

– А что! – Носков посмотрел в сторону соседа, такого же щуплого, как сам он, и тоже в немецкой шинели. – Правда, Серега? Вернули дядькам сотенку коров, могли бы и отблагодарить. Как в сорок втором, помнишь? Колхозное еще было. Надо сапоги смазать, отполосовал ремень от хряка и – пожалуйста.

Веснушчатый, рыжеватый партизан сцеживает из котелка в ложку суп и молчит. А Носков не унимается:

– Вот Серега Коренной потрудится, подумает и скажет самую правду.

Коренной поднял глаза, сощуренные, как от головной боли. Попросил:

– Отстань, Николай, не помню я такого сала. До чего же ты мастак...

Не досказал и пошел мыть котелок.

– Знаешь, дружба, – подошел к Толе «моряк», – тебе бы дровишек порасстараться. Ребятки, знаешь, устали, послужи! Где? Ну, посмотри там.

Зарубин поморщился и махнул рукой куда-то в угол будана. Весело рассмеялся наблюдавший за ним партизан, самый пожилой из всех, но очень подвижный, легкий. Его все окликают: «Дед» или «Бобок».

– Ай да «моряк», он еще не знает, на каком свете дровишки те! – говорит дед Бобок. – Петя наш такой: лучше кашки не доложь – на работу не тревожь.

А Толе пояснил:

– По дорожке. Штабеля там.

– Под большой сосной, знаю, – радостно откликнулся Толя. Старик ему сразу понравился, хотя в нем нет ничего партизанского, обыкновенный деревенский дядька, даже нос «бульбочкой».

Вернувшись с двумя плахами, Толя увидел мать.

– Мы сынка вашего, Анна Михайловна, в наряд вне очереди, – весело сообщил, «моряк».

– Что ж, – улыбнулась мать, – пусть привыкает.

Интересно, к чему должен; Толя привыкать? Дрова таскать?

– Вот и Серега Коренной, был тогда. – Голос Носкова. Голос этот совсем не громкий, даже сиплый, но какой-то очень требовательный, настойчивый, и его обязательно услышишь. – Помнишь, Сергей? Кругом немцы, зажали, одним словом, кончаем воевать. А командир отряда сел на автомат: я уже не я... Кадровики наши, Сырокваш да Петровский, вывели...

Разванюша не выдержал, хохотнул.

Сергей Коренной поморщился, пробормотал недовольно:

– Какой ты, Носков, охотник болтать почему зря! – И тут же, распалившись, заговорил громко в сторону Разванюши. Даже приподнялся. – Что бы там ни было, а Колесов с сорок первого в партизанах. Кое-кому надо еще походить да походить, а уже потом хихикать. – В упор глядя на Разванюшу, с растяжкой закончил: – Не прикидывал два года, чья возьмет.

Впервые Толя глядел на партизана с опаской, как на чужого. А Разванюша – хоть бы что! Спрятался за улыбочку. Краснолицый Комлев, тяжелый, как намокший дуб, загудел:

– Один послал в полицию, другие будут до смерти попрекать. И до войны вот так: сегодня ты хороший, а завтра уже виноват, не успеваешь голову поворачивать – туда, сюда...

– Ага, во-от что! – Сергей Коренной даже побледнел. – Слышали мы эти разговорчики. – И закончил, обжигающим шепотом: – Если воевать, если принимать, так все, а не так: это – готов, то – не хочу. Видел я таких и в первые дни. А из кого же понаделали власовцев да бобиков?

Комлев тяжело поднялся, но тут же снова сел.

– Вот так – и сиди! – сказал Сергей Коренной и от волнения тоже сел. А Разванюша улыбается. Наступая на костер, пробрался в угол, взял гармошку. Стал искать что-то на ладах. Долго не мог найти.

Прижимая полы длинной кавалерийской шинели, прошел командир взвода Вашкевич. Его место на нарах выделяется: попона вместо одеяла, седло вместо подушки.

Поискал кого-то глазами, спросил:

– Лошадь поена? – Сердитая нотка дернулась в голосе командира. – По-моему, нет.

Отозвался Застенчиков:

– Меня на пост послали.

«Моряк» зачем-то взялся ворошить разгоревшиеся дрова – сноп искр радостно взлетел вверх. Искры жадно налипают на сажу, расползаются. На Зарубина шумнули:

– Петя, пожару наделаешь.

– А, постой!.. – поморщился Зарубин. – Ну, ладно, не пошел на дело: нога там, животик... Так и на реку не съездил. Стрельбы, может, испугался?

Суетливый дед Бобок сыпнул скороговоркой:

– Попал в хорошее место – воюй! – И засмеялся одними глазами, хитрыми, стариковскими. – Берка, сапожник наш, сына своего мне ругал, – стал пояснять Бобок. – Попал сын на бронепоезд, так нет, проштрафился, его в пехоту. И убили. Бедный Берка, как вспомнит, сразу: «Попал в хорошее место, так воюй, зараза!»

Толя вышел из будана. В лесу уже ночь. Деревья как-то сдвинулись, беспокойнее шумят вершины. Звезды расползаются по черному небу, зажигаясь одна от другой, как искры на саже. Мерцают огни в соседних буданах. Вернулся в свой. Тут уже

укладываются спать. Оружие ставят к задней стенке или кладут возле себя.

Кто-то поинтересовался:

– Где Зарубин?

Старик Бобок хмыкнул:

– Будет тебе Петя сидеть, когда там полиция кончают.

– Ложись, – вполголоса говорит мать, не подозревая, наверное, как интересно сегодня для ее сына и это – ложиться спать. Первая ночь в партизанах!

Тепло, уютно под мягким ватным одеялом, которое предусмотрительная мама все же прихватила из дому. Тут, на морозе, оно точно короче сделалось, но ничего, греет. Только лучше бы укрыться трофейным или шинелью, а поверх – попоной, как командир взвода.

На ночь тут не раздеваются, только расслабляют ремни на себе. Толя тоже лишь пальто да сапоги снял. Ушанку пришлось оставить на голове: зеленая стенка пропускает морозный ветерок.

... Пришел Зарубин.

– Что, Петя? – спросил Бобок. – Ножичком? Сколько ты уже нанизал на него?

– Порядок, – ответил Зарубин и, не спрашивая, взял из чьих-то губ сигарку. Толя со сладким ужасом и с уважением смотрел на человека, *который только что убил*. Но лицо Зарубина все такое же: простовато-грубое и, пожалуй, добродушное. Только глаза – потемневшие, да синяя контуженая щека чуть дергается. И Пуговицына, говорят, – он...

Все меньше людей топчется в проходе, светлее стало. И разговор сделался общий.

– Вот Головчене лафа: бороду на живот – и тепло.

– Ты, Головченя, только не задумывайся. – Это Бобок весело скрипит стариковским голосом. – У одного деда спросили: «Когда спишь, куда ты бороду ложишь, под одеяло или поверх?» Задумался дед. Пока не думал, не мешала. А тут: и так и этак попробует – все не то. Хоть плачь. Обрезать пришлось.

На дворе – девичий голос. И мужской. Будто перебрасывают смычок с тонкой струны на басовую.

– Эй, Зарубин, Катю перехватил Царский. Слышишь? Давай наперерез.

– Сама отобьется, – радостно говорит Зарубин. – Во-о, слушай!

Заученно грубые, мужские слова. Но звучат они на первой струне – голос нежный, девичий.

– Во-о! Катюша скажет – на уши не натянешь.

Отбросив постилку, которой завешена дверь, вбежало беловолосое существо в грубом черном джемпере. Самое ненужное на этой особе – короткая юбочка поверх мужских штанов. Кажется, Толя уже видел эту Катю возле кухни.

– Можно?.. Ой, я уже вошла!

На какое-то время глаза девушки прикипели к яркому пламени, круглое лицо ее сделалось по-детски бездумным. Но тотчас изломилось в улыбке – смелой, грубоватой.

– Живы-здоровы?

– Ты не меня? – сиплый голос Носкова. – Кто со мною за малиною пойдет, покажу, где сама сладкая растет... Да, Катюша?

– Нашелся кавалер, правда, Катюша? – «Моряк» попытался усадить девушку рядом с собой. Но она, черт бы ее побрал, Толей заинтересовалась.

– Откуда такой мальчик?

Толя быстренько закрыл глаза. Спит. Чувствовал, что краснеет. Во сне краснеет – глупо.

– Красивый мальчик.

Она уже рядом. Слышно – оперлась руками на нары, дышит Толе в лицо.

– Спит, – весёлый голосок. – Ой, это ваш, Анна Михайловна!

Толя открыл глаза и совсем близко увидел бездумно-смелые, смеющиеся глаза.

– Не спит, – насмешливо сказала девушка и поднялась с нар.

Только она ушла, как влетело что-то большое и стремительное. Эту встретили шумно, но и ласково: «Марфа!», «Марфушка!» А она, огромная от мечущегося за спиной крыла тени, отвечала сразу всем, улыбалась сразу всем, смотрела сразу на всех.

– Здравствуйте, Анна Михайловна. Ну, как они без меня, слушаются? А-а, Молокович, любовь моя. Ну, как ручка? Хорошо, что мы не поспешили укоротить ее.

– Марфа Петровна это умеет, – сказал Молокович, молодой партизан с лицом, вытянутым как бы от постоянного удивления. – Навалится и держит.

Прозвучало это почти обиженно.

– И что за хлопцы пошли: чуть прижмешь – убегают! – Женщина громко смеется. Глаза на широком, очень даже просторном лице теснятся к переносице. Но бурная ласка, излучаемая этим лицом, глазами, делает женщину почти привлекательной.

– И кто только меня, такую большую и плохую, замуж возьмет? Одна надежда на Ефимова, на Фомушку милого. Где он ходит? Не знаете?

При упоминании о каком-то Фомушке весь будан радостно загудел.

Ушла женщина так же неожиданно, как и ворвалась. Засыпая, Толя слышал голос командира взвода:

– За сажей присматривайте, дневальные. Задремал, но, как ему показалось, тут же открыл глаза, вздрогнув от какого-то крика. Нары завалены людьми. Все, кроме дневального Зарубина, спят. Странно: «моряк» будто и не слышит крика ребенка. Пронзительного, резкого. Фу, да это же филин!

Толя подтянул одеяло к подбородку. Самое уютное, теплое – то, что ты нагрел собственным телом. Чтобы не разбудить мать, Толя старается не шевелиться... Посмотрел на нее и тотчас отвел глаза, боясь, что она проснется от взгляда. Но напряженно заломленные брови уже вздрогнули, глаза открылись – в них испуг, вопрос:

– Что ты? Спи.

«Моряк» посматривает на часы, вверх смотрит. Но шест в руки не берет, хотя искры жадно растекаются по саже. Сидит и трет синюю щеку. Будто забывая, что люди спят, промычит слова песни, тут же, спохватившись, послушает треск костров, потом опять тянет:

– «Я люблю... про прежнее... былое... в поздний вечер... близким... рассказать... далеко... за снежную Сибирью...»

– Ты бы, Петенька, гармонику взял, – посоветовал с лютной ласковостью сонный голос.

А кто-то, видно не спавший еще, охотно подключился:

– Была у волка одна песня, и ту «моряк» украл.

Опять проснулся Толя и какой-то миг непонимающе глядел на пламя вверху. Будан словно раздался вширь, распираемый светом.

Над головой плещется, несется стремительный, красный поток, а мысли после сна такие спокойные. И кажется, что сон все еще длится.

– Чемодан бери, быстрее ты! Где сапоги, шапка? – сердитый голос матери.

Меж костров испуганно-весело мечутся фигуры людей, а вверху трещит пламя. Черт, будан горит!... Толя подскочил.

И вот партизаны любят столбом огня, лижущим вершины елей и сосен. Рой искр радостно несется в небо, просеиваясь сквозь сучья деревьев. Гудит пламя. И – стреляет.

– Кто патроны оставил?

– Это когда будан крыли, порастеряли.

– Отходи дальше: мину забыли!

И тут же – глухой взрыв: красный столб округлился, взметнулся вверх.

Погорельцы растерянно, но с интересом глядят, как их хоромы заревом взлетают в небо. А для соседей – настоящий праздник.

– В третьем взводе дезинфекция.

– Пионерский костер. Дневальные у Вашкевича любят, чтобы тепло и светло!

Высокая фигура в огненно поблескивающей черной тужурке гремит на весь лес:

– Хоть выгреемса-а!

Это Царский – командир первого взвода. У него выговор чисто полешуцкий, но лицо не то грузина, не то молдаванина. Возле него самые языкастые. Тут и Баранчик. Этот просто пляшет, на лице самые невероятные гримасы.

Досыпать ушли к соседям. Завалили все нары, проходы. Пробираясь на свое место, остролицый командир второго взвода Железня сказал, хмуро улыбаясь:

– У нас в деревне говорили: «Пустить постояльца – все равно что положить борону посреди хаты».

Закончил без улыбки:

– Ни борон там теперь, ни хат...

Утром взялись возводить новое жилье. Рубили жерди, еловые лапки. Соседи приходили «помогать». Стоят – руки в карманах, – поощряют:

– А работнички ничего!

– У них это просто: захотели – сгорели, захотели – построили.

Царский стоит возле своего будана, в окружении своих хлопцев. Скажет и сам же: го-го-го! Кричит издали:

– Сегодня у тебя, Вашкевич, костер будет? Давай. Погреемса.

К вечеру, уставшие, с черными от смолы руками, зажгли костры в новом доме. Тихо пели песни. Разванюша подыгрывал.

А ночью всех поднял радостный крик дневального:

– Царский горит!

II

Уже месяц, как Толя пришел в партизанский лагерь, а он все еще неизвестно кто. Нет, он не в хоззведе, до этого не дошло. Но и не боец. Для таких, как он, тоже есть название. И даже песенка: «Лагерный придурок... там-та-рам...» Ну и пускай придурок. Но веселого в этом мало. Только и отдыхаешь от затяжной, злой обиды, когда пошлют в деревню. Соломы, например, привезти. В деревне и Толя партизан. Кому известно, что винтовка чужая?

Но если правду сказать, и в деревне нет у него полной партизанской радости. Он даже побаивается. А вдруг какой-нибудь дядька, который накоротке с партизанами, махнет рукой:

– Иди, иди, тоже нашелся! Какой тебе еще соломки?

Что тогда делать, как поддержать партизанское достоинство? И вот Толя напускает на себя строгость вооруженного человека, спрашивает по-партизански требовательно, но и по-партизански дружески:

– Хозяин, как у тебя с соложкой?

И сам себя видит. Глазами дядьки. Что ж, партизан как партизан: подсумки, из кармана плаща торчит зеленая ручка гранаты, красная лента на шапке – наискось, сапоги разбитые, заметно, что извели дальних дорог... И лицо свое видит: дружески-строгое. И голос свой слышит: незнакомо басовитый.

Бородатый, в рубахе навывпуск дядька идет к хлеву.

– Охапок-два возьми. Дал бы больше, ды бачишь – пусто, весна.

– Я у других еще, – охотно соглашается Толя.

Кое-как насобирал приличный возок. Глядя вдоль улицы, по-весеннему черной и по-весеннему солнечной, прикидывал: в какую хату идти завтракать? Высматривал, где нет белых занавесок и вазонов в окнах. Вот эта. Окошечко, как рот столетней старухи: пустое, перекошилось. Тут уж наверняка ни одной девушки. Можно и поесть спокойно, и побеседовать, не краснея.

– Хозяюшка, – с порога (порога, собственно, нет, да и пола тоже) заговорил Толя, – молока попить... поесть не найдется?

Завтракал в лагере, но это не в счет. Побывать в деревне и не побаловаться кислым молочком (партизаны его называют по-своему, весело: «гром») – о чем же тогда рассказывать будешь, вернувшись в лагерь?

От печи на Толю подслеповато смотрит старуха. Или еще не старуха? Не разберешь... На голове у нее теплый платок, хотя ноги босые. Всматривается она долго. А чего, собственно, смотреть? Партизан как партизан...

– Ну, то чакай, – говорит наконец старуха, – вот поспеют паронки.

Это уже разговор – обождать можно. Толя садился на вытертую до глянца и широкую (просто лечь хочется) лаву, наглухо приколоченную к темной стене. Винтовка в коленях, глаза на улице: деревня своя, но все равно беспокойно, если не видишь, что делается за окном..

Мама уверена, что попросить поесть – мука мученическая для ее сыновей. Она по Алексею судит. А чего тут стесняться, если рассуждать по-взрослому? Если бы ты просто так просил. Но ты ведь – партизан.

Старуха, прижимая к уху платок, вышла в сени и плотно прикрыла за собой дверь. Долго колдовала там, может, в подпол, а может, на чердак лазила. Кажется, что закрытая дверь присматривает за тобой. Такое чувство, что ты не один, что вас двое осталось в хате. Но Толя и не думает интересоваться тайником хозяйки. Наконец вернулась. Колдовала она не без толку: в руках большая глиняная миска творога, соблазнительно желтого от густой сметаны. Это тебе не лагерная перловка!

– Ешь, сынку, пока можно.

Толя придвинулся к столу. Старуха выхватила из печи чугунок, подержала его, ловко и ласково, как младенца, над ушатом, потом понесла к столу. И прямо на скатерть вывернула сочную с медовыми пригарками картошку.

– А соль наша сам знаешь.

Сняла с полки черепок с водой. Толя обмакнул картофелину – горько, а не солоно. Удобрение теперь идет вместо соли.

– О, есть! – вспомнил Толя. – Вот осталось.

Не осталось, а Толя специально немножко соли взял в санчасти.

– Ну, то и ешь, сынку.

– Нет, это вам.

– Ну, то спасибо. Ты хоть не один у матери?

Сейчас Толю начнут жалеть. Баба уже и локоть на ладонь положила, щеку подперла. Все как по писаному.

– Нас двое, – поспешил успокоить ее Толя. – Брат еще. Она тут, с нами.

«Она» – это мама.

– Бедная. Лучше, когда не вместе. Вы не будьте дурнями. Мой тоже лез, больше, чем всем, надо было... И осиротил мати.

Толя с беспокойством взглянул на женщину. Нет, глаза пока сухие. Запавшие, как давно высохшие озерца.

– Мой на железке подорвался.

«Железка» у бабы звучит привычно, как домашнее, *сыново* слово.

– Все конца войны чакают, а я не знаю, – чего жду. И господара моего забили, когда немцы деревни жгли.

Не умеет Толя поддерживать такие разговоры. Но сидеть и молча жрать тоже неловко.

– Ты ешь, сынку, я для себя говорю.

Возвращался в лагерь. Гребля, что соединяет деревню с лесом, полузатоплена талой водой. Ноги у лошади проваливаются, возчика трясет, как больного, того и гляди, сползешь в грязь вместе с соломой. Каким-то идиотом чувствуешь себя: внутри екает, голова дергается, кажется, что уши сделались длиннее.

Дотрясся до сухой дороги. Теперь выехать на просеку, потом еще одно болотце и – лагерь. Даже странно, что для многих, очень многих, это место так недосыгаемо, так таинственно. Перебрались сюда недавно. Лагерь здесь настоящий, надолго: не шалаши, а большие – каждая на целый взвод – землянки. Окна, двери – просто город.

Въехав в лес, Толя вытащил из подсумков три медно сверкающие обоймы патронов. Выменял он это богатство за авторучку. Все равно чернил нет, да и ни к чему они. Стихи можно и карандашом писать, лишь бы писалось. Когда жил дома, вроде хотелось. Особенно получалось о партизанах. А тут почему-то не тянет. Тут даже Пушкин долго не побыл, которого прихватил из дома. Вначале все было, как в Толиных мечтаниях. Пушкина встретили как старого знакомого, который явился очень кстати. Вечером, после ужина, когда половина людей уже уляжется, а вторая толпится у печурки, у коптилки, кто-нибудь обязательно вспомнит (Толя уже давно ждет, чтобы вспомнили):

– А ну, еще «Полтаву».

– Где Толя? У него голос, как у молодого петушка.

Слушали охотной. Толя был горд, счастлив, он чувствовал себя нужным и *при Пушкине*. Потом – будто ударили – он обнаружил: выдирают листы. Толя громко сказал про это. Зашумели.

– «Полтаву»? Цела?

– «Цыгане» что! Цыгане курей любят. Как немец.

– Эй вы, гады, дымари чертовы, хоть «Полтаву»-то не скубите!

С обидой слушал Толя совсем не возмущенные, а скорее веселые голоса. Он стал прятать книгу. И позабыл о ней. А когда вспомнил, вытащил из соломы – в руках была обложка да «Повести Белкина». Проза только и осталась.

Лежа на подводе, Толя перебирает в пальцах патроны, ищет, который с вмятиной. Смотрит, во что бы пальнуть. Камень под дубом сереет, совсем как спинка зайца. Толя раскинул ноги на соломе, прижал приклад к плечу. Нет, трясет. Придержал коня. Целился, и все внутри сжималось от знакомого ожидания: сейчас толкнет в плечо, и камень будто взорвется. Знаешь, что это произойдет, а всякий раз не верится. Вот так прицелиться в немца, вот так нажать... Осталось – палец и то, что сопротивляется ему, да еще то, что видит глаз. Неумолимо хлестнуло по камню, спинка его из серой мгновенно сделалась темной.

Торопливо выбросил гильзу и дернул вожжи. Винтовку втиснул в солому под брюхо себе. До «черной» поляны, где расположен пост, ехал минут двадцать – не спешил. Поляна действительно черная: везде выворотни, ямы, будто прошел здесь большущий плуг. И редкие кривые березки. Белеют изогнуто, как слабый дымок.

– Ты стрелял? – спросил у Толи часовой. Стоит, прислонясь к ели. Одна пола кожуха черная, другая – желтая. – Оружие у охотников этих отнимать, патроны переводят.

В окопчике за пулеметом валяется Авдеенко. Парень очень молодой и очень нахальный. Вот и сейчас:

– Эй, возчик, давай тащи сюда соломы.

Толе не жалко, но тут будто и не слышал. Авдеенко вскочил на ноги и потянул к себе целый пласт – чуть Толю не сволок.

– Ох, эти мне...

Не досказал, но Толя знает слово, которое не было произнесено.

Въехал в густой, как щетка, лес. Ель тут болотная, тонкоствольная, но очень прямая. Сразу сделалось сыро, холодно. Кое-где жметя снег к земле. Сразу почувствовал, что ноги в рваных сапогах противно мокрые, холодные. И день совсем не такой солнечный, как казалось. Пока продерешься к своей землянке, половину соломы оставишь на сучьях. Ну и ладно. Бобка, ездового, не видно. Наверно, побежал к кухне. Там и рассказать и послушать можно. В землянке хрипит-шипит под тупой иголкой потертая пластинка: «Саратовские страдания». Толя спустился по ступенькам. И будто ослеп сразу. «Весна очи крадет», – сказал вчера Бобок. У окна склоненная фигура щуплого и всегда холодно-язвительного Носкова. Не пошевелится. Саратов, конечно, его довоенное, но пластинка все же противная.

Толя швырнул гранату на нары. В углу таких, без запалов, много валяется.

На нарах сидит Головченя. Борода его слилась с полумраком, заполняющим будан. От этого лицо кажется уродливо срезанным снизу. Но вот Толины глаза стали привыкать к темноте, и сразу выросла борода у Головчени, широкая, веселая. Испытывает пружину своего «Дегтярева», стучит затвором. Делает он это с удовольствием человека, разминающего затекшие мышцы.

– Не звякай. Ты! – кричит Носков.

В землянку спустилась мать. Очень озабоченная.

– Привез? В первом взводе подозрительный больной. А тут в соломе всего. Смените. Вечером пойдете в баню в Костричник.

Толя молчит.

– Устал? – не поняла мать. – Ну вот, а просишь винтовку.

И она еще! А все из-за нее.

Толя повесил плащ на столб, подпирающий крышу. Достал баночку с ружейным маслом. Почистил винтовку и завалился на нары. Заляпанный грязью сапог пришелся на край ватного одеяла, все еще назойливо выделяющегося своей шелковой желтизной. Толя не убрал ноги. Одеяло это, когда еще в Селибе жили, мама отправила в деревню. Там и велосипед от полицаев прятали. Как-то прибежала в Лесную Селибу мамина знакомая Павловичиха, очень расстроенная, напуганная.

– Забрали ваш велосипед. Партизаны.

Добрая женщина боялась, что ей не поверят.

– Я им говорила, а они: «Нам нужно, Корзуниха не обидится». Да вы его знаете, был примаком в вашем поселке. Помните: Баранчик? Черт такой глазастый.

Обижаться на партизан, пожалеть для них! Мама успокоила Павловичиху:

– Не расстраивайтесь, не то люди теряют.

А Толя просто счастлив был. Он ходил по шоссе, смотрел на немцев, полицаев, гордо и ехидно усмеялся: «Хожу перед вами, а на моем велосипеде партизан сейчас катит».

И вот тут, в лагере, встретился со своим велосипедом. Обидная встреча. Разванюша вдруг приволок его: на одних ободах, с позеленевшим от плесени седлом.

– Ваш, Анна Михайловна. Баранчик затащил его теще своей. Мне подсказали в гражданских куренях. Забрал.

Мама только нахмурилась: «Зачем?» А Толя, вспомнив, как гордо ходил он по поселку, готов был доломать велосипеду кости. Лежит и теперь под парами, все еще блестя спицами, будто в насмешку.

Снаружи уже слышен тонкий, неприятно пронзительный голос. Помощник командира взвода Круглик. Спускается в землянку лобастый и ноет, ноет. Сам как медведь, а голос бабий.

– Куда Бобок надевался? Кто тут есть? Толя?

Ну конечно же Толю увидел. Других будто и нет.

– Отведи коня на поляну.

Говорит так, будто ничего в этом нет обидного. А вот Носкову или Головчене не скажет. Они – партизаны.

Возле лошади уже хлопочет Бобок. И руки и язык в работе.

– Та-ак, пустим тебя на шпацир. Вылазь, брат, из хомута. Иди, короста зимняя. Толя тебя отведет, где солнышко, там и Буланок, друг твой по оглоблям.

Толя взял палку и погнал коня, фыркающего, радостно спотыкающегося. Толя любит возиться с лошадьми, но теперь, когда он только лагерный придурок, он ничего не хочет ни уметь, ни любить. Сдохнуть бы тебе, одр проклятый! За тем ли Толя в партизаны шел, чтобы прогуливать тебя. Огрел палкой по крупу, палка неприятно отскочила, как от дерева. Сделалось совсем нехорошо. А коняка вроде собрался бежать, даже качнулся вперед, но и шага не пробежал. Толя обошел его и направился к поляне. Эта поляна сухая, окружена белой стеной берез. Называют ее «круглой». Тут выстраивается отряд в торжественных случаях:

перед уходом на операцию или когда приказ зачитывают. Парадная поляна. Первого мая новички здесь присягу принимать будут. И Толя. Или тоже не дорос?

Присел на корточки, прислонясь спиной к дереву. Березы все еще безлистые, и кажется, что выбрались они на поляну из-за густых елей, чтобы отогреться. Кора пахнет грибами. И во рту сладкая горечь, точно ты грыз ее, кору эту. Даже ртом, как заяц, чувствуешь весну.

Толя прикрыл глаза и сразу один на один остался с солнцем, глядящим, ласковым. Открыл глаза и сразу вскочил. Взвод возвращается! По одному, по два выходят на поляну. Побежал навстречу.

– Алексей, – крикнул идущий впереди «моряк» Зарубин, – братуха твой!

«Моряк», картинно перепоясанный пулеметной лентой, вроде очень доволен, что увидел Толю. Конечно, он рад тут любому дереву, любому пню: домой возвращается. Даже Алексей улыбается брату. На нем тоже отсвет общей возбужденности. Такими приходят с удачных операций. Но как Алексей оказался со взводом? Взвод на «шоссейку» ходи, а брат – с группой Пахуты снова на железную дорогу. Вон и сам Пахута – весело веснушчатый, золотозубый командир подрывников. Вася Пахута вовсе не такой необыкновенный, как показался в самую первую ночь. Но всегда такой же дружелюбный, веселый.

А великан в зеленом мундире тащит на спине неразобранный станкач.

– Поднажмись, Фомушка, деревня близко, – поощряют его партизаны. Так это и есть Фома Ефимов – Толя о нем наслышался! Не о каких-то особенных делах его, а просто так. Видно, есть люди, о которых другим людям радостно вспоминать, слово сказать. Этот Фомушка из таких.

– Поучу вас носить, – густо проклокотал бас Ефимова. Косо блеснул глаз из-под взмокшего мягкого и светлого чуба. – А то торгуются, как бабы.

– Ничего, хлопцы, после курортов ему в самый раз.

– Давненько не таскал. Зря и коня митькинского утруждали. От самой «варшавки» допер бы.

– А ну, бери! – прохрипел Ефимов.

Побагровев, приподнял пулемет на руках, вынул голову из стального «хобота» и, перехватив рукой станкач под ствол, подал одному из остряков. Но тот не принял.

– Спасибо, Фомушка, пользуйся сам.

Ефимов поставил пулемет на дорогу. Колонна спокойно обтекала неожиданное препятствие. Командир взвода с шинелью на руке стоял сбоку и наблюдал. Возле пулемета остановился Молокович – тихий парень с некрасиво вытянутым подбородком и наивными большими глазами. Сейчас остановится и Алексей: ему всегда за других неловко. Толя готов был уже подбежать, помочь, но вовремя спохватился. Подумают еще – подлизывается. Отсиживается в лагере, а тут – готов.

Какие они все особенные, когда возвращаются с дела. Даже лицо Застенчикова, обычно такое зябкое, недовольное, светится сегодня тихой, доброй усталостью. Поравнялись с постом.

– Мышей всех в яме этой передушили? – спрашивают у часовых.

– А вы там – курей? Фрица хоть одного кокнули?

– Грузовую и легковушку, – сказал Молокович и с каким-то радостным изумлением добавил: – Генерала или почти что. Мозги аж на заднее сиденье.

Шли через лагерь к своей землянке, – кричали, смеялись. Хозяева возвращаются в дом, за которым присматривали бедные родственники.

– А суп здесь тот! – с удовольствием отметил «моряк», заглянув в котелок, оставленный на столе. Длинный стол возле землянки – новинка. Толя и Бобок сколотили его.

– Молодцы ребята, – отметил работу «придурков» добряк Молокович. – Хоть не в колени будем котелок ставить.

Из землянки не спеша вышел Носков. Вслед ему патефон хрипит «саратовские». Даже Носков чувствует себя не очень хорошо оттого, что не он – другие пришли с дела. А уж, кажется, он-то походил: с весны сорок второго в отряде. Сразу начинает язвить:

– Пришли? Ну-ну, перловки и на вас хватит. Совсем будет ни пройти ни выйти из лагеря. Заминировали каждый куст.

А хлопцы гадают:

– И как это наш Максим научился такое стряпать?

– Ему комиссар приказал, чтобы придурков не разводилось.

Весь день среди тех, кто пришел с дела, жила какая-то особенная близость, доброта. Казалось, ее видишь, как видишь летнее, горячее дрожание воздуха. Только и слышно: «Коленька», «Серегга». Шумной, веселой ласковостью партизаны как бы отгораживаются от тех, кто не ходил с ними, кто «сидел» в лагере. Во всяком случае, Толя ощущает это, он будто стену видит. Возможно, она в нем самом, но он ее хорошо чувствует, глухую, обидную стену.

Ни от кого толком не разузнаешь, что, как там было. Рассказывают, припоминают, но все какие-то мелочи, забавный смысл которых больше понятен тем, кто сам ходил, видел. Про то, как убегал по шоссе единственный уцелевший немец и никто не мог попасть в него («длинный, как наш Светозаров»), как стукнул Фома по затылку Молоковича, когда ленту в станкаче заело. Сами рассказывают и сами же интересуются:

– И что, сразу заработал пулемет?

Но есть же у Толи в отряде брат. Он-то про свое обязан рассказать.

– Три ночи ходили к железной дороге, а потом подорвали. С цистернами. Убегать плохо было – осветило все.

Толя, конечно, привык, но иногда посмотрит, и делается ему смешно, что у него такой хмурый, неразговорчивый брат. Мо-орщин на лбу!

А вот и мама. Глаза нетерпеливо-счастливые, ищущие.

– Алеша, – позвал Толя. Но тот пошел в землянку, понес вычищенную винтовку. Алексей за это время каким-то другим стал. Может, оттого, что постригся наголо. Был чуб – шапка не держалась, а теперь – как новобранец. И не для того снял свою кучерявость, чтобы показать, как не дорожит он такой роскошной вещью. (Разванюше бы Алексеев чуб, к его усикам!) Захотелось – снял. Брат все делает просто, без оглядки. Все несчастья в жизни Толи, все мучения от того, что он не умеет притворяться таким же бесчувственным, деревянным: я, мол, свое дело знаю, а уж потом – остальное. Брат даже и не уговаривает Толю сидеть в лагере. Ходит на «железку», и все. Само собой получается, что теперь уже от Толи зависит: бояться матери за одного или сразу за обоих.

Вышел Алексей из землянки, увидел мать и нахмурился. Дает понять, что для всяких ахов и охов есть Толя. Но мать лишь глянула на Алексея, как-то сразу будто вобрала беспокойно-счастливыми глазами. И тотчас ее вниманием завладел Пахута.

Веснушки делают лицо Васьки-подрывника еще добрее, даже светлее, сразу вспоминаешь, что они – от солнца. Раздуто-круглый, затиснутый в стеганку Пахута такой беспокойный: от него и на воле тесно.

– Анна Михайловна, дороженькая наша! – зашумел он.

– Дороженькая даже, – отозвалась мать. Она смеется, говорит, и чувствуется – потому так смеется, так смотрит, что Алексей здесь, в лагере, вернулся... И Пахута тоже понимает это и потому рассказывает про Алексея:

– А он у вас настоящий лесовик. Забрался на ель – посмотреть на дорогу. А тут машины. Облапал еловые ветки, вот так, да ка-ак сиганет вниз.

– Вот дурной! – такое испуганное, домашнее вырвалось у матери.

Все рассмеялись.

Как-то очень незаметно мать подошла к Алексею, глядит на стриженую голову, на его обновку – ярко-синие галифе. Смотрит удивленно, с некоторой опаской.

– Это что у тебя?

– Брюки же. Из чертовой кожи.

– Из полицейской, – обрадованно пояснил Толя. Он уже знает подробности.

– Он... живой? – спросила мать совсем тихо.

– Тогда был живой, – сердится брат. – Ну что ты, мама, спрашиваешь? Фома взял себе, но ему малы, а мои разорвались, когда я с дерева...

– Надо зайти к Павловичихе забрать папины, вот и Толя совсем обносился.

Переключилось внимание на Толю – Алексей сразу посветлел. И улыбается, не морща лба, и разговаривает охотно. Совсем семейный разговор. Но мама, хотя и отошла от других к Алексею и Толе, – все замечает. Молокович сильно натер ногу. Сидит разутый на новом столе, шевелит пальцами, рассматривает их внимательно, будто пересчитывает. Спросил, нет ли воды. С непонятной строгостью мать приказала Толе:

– Сходи к кухне.

Толя пошел, неся в себе тупую обиду. Мама, Алексей живут в том особенном мире, где все, кроме Толи, все, с кем ему так хочется быть. А он один, совсем один. И даже она с ним так разговаривает. За этот месяц во взводе никого и не убило, двоих

только ранило. Не убили бы и Толю. Значит, зря он столько мучился. Мог ходить со всеми, веселый, легкий. Будешь сидеть, сидеть, а потом пойдешь и в первом же бою...

Вернулся к землянке, незаметно поставил на стол котелок с водой. Кому надо – найдет. Что-то веселое рассказывают.

– Небо звездное, чистое, хоть молись, а оттуда – матюг! – Носков довольно легко воспроизвел и слова, и голос с неба.

– Расскажи, Пахута, – просят Ваську-подрывника, – не все знают.

– Да ну вас, Мохарь и так косится. Будто не он меня, а я его сволок с неба. Ну что, летим мы. Я – радистом, в Москве поужинал, думал, к завтраку вернусь. А тут во как загостил у вас.

– А что! Попал в хорошее место, так воюй. – Бобок не может не вставить словцо-другое. Он просто ногами сучит от удовольствия, когда завязывается веселая беседа. Сапоги у ездового новые, из свежесделанной кожи: сразу видно – дружит человек с сапожником. И кухню не обходит: даже голенища набелены смальцем.

– Перелетели фронт, – продолжает Васька-подрывник, светя золотом. – Вижу, и Мохарь притих. А то все рассказывал, как он затылком прыгал. Осоавиахим, то да се. Может, когда и прыгал, но как немцам на голову пришлось – сели батареи у нашего Мохаря. Вспыхнули костры, прыгнули двое, а Мохарь никак. Я его коленкой под зад уговариваю. Вытолкнул, но меня тоже будто выдернуло. Был самолет, было все, а тут – лечу. Без парашюта, братцы! Отпустил он мою ногу, но тут уж я его за шею облапал. «Дергай запасной!» И, наверно, еще что-то шептал ему. Носков вот помнит, слышал.

– А молодец Мохарь, что стащил тебя с самолета, такого парня у нас не было бы! – «Моряк» Зарубин потряс Пахуту за плечи.

III

Разведчики привели в лагерь двенадцать человек, убежавших из немецкого плена. Одинаково грязные лохмотья, одинаковая чернота, положенная на лица долгим, лютым голодом. И все же некоторых сразу выделяешь. Особенно заметен веселоглазый парень, который убил топором немца-конвоира. Ходит по лагерю с немецкой винтовкой.

Нескольких определили в третий взвод. Самый пожилой, Коломиец, как сел на землю возле землянки, так и не сдвинулся весь день. На том месте и пообедал (товарищ принес котелок), там и приоделся немного. Когда примерял полотняную, плохо покрашенную, но все же рубаху, лицо его засветилось первой улыбкой.

Товарищ Коломийца – низенький, седой. Можно догадываться, что он вовсе и не старый еще, что был когда-то очень живой, подвижный. От неуходящей, виновато-радостной улыбки кожа на висках все время собрана в лучики.

Кроме Коломийца и его белоголового товарища Шаповалова в третий взвод зачислен еще один. Фамилия – Бакенщиков. Этого не сразу и заметили. Все новички уже освоились, все в обновах, не очень роскошных, но все же. А очкастый сидит в сторонке, ворох лыка у ног, колени острые, высокие, как у кузнечика. Сидит человек с узким, высоколобым лицом профессора и отрешенно плетет лапти. Смелости только и хватило лыка расстараться, попросить. Но не заметно в нем той обязательной тихой виноватости, с которой приходят в лагерь из немецкого плена.

Мама принесла ему Алексеево белье. Хорошее, почти новое. Человек поднял черные, странно горящие за очками глаза. Глаза эти как бы отдельно живут на одеревенело-спокойном лице. И поблагодарил он странно:

– Спасибо, женщина.

Толя рад за возвращающихся к жизни людей. Возле них и ему хорошо. К нему новички обращаются охотнее, смелее, чем к другим. И даже на «вы». Белоголовый, лучащийся счастьем Шаповалов вполголоса расспрашивает его, как тут «оружием разживаются».

С оружием, понятное дело, трудно. Добывают кто как сумеет. Целую неделю лазали по большому пожарищу (немцы с самолетов лес жгли). Двоим повезло – винтовки нашли. Чуть-чуть приклады почернели, подрумянились, а так – хорошие винтовки. Толе вот подсумки попались. Ходят легенды про целые машины оружия, которые в сорок первом наши зарыли в землю. Но клад никому пока не дается. Вооружаются и так, а больше, понятно, в бою.

– Конечно, конечно, – поспешно соглашается Шаповалов.

Толя не говорит, что ему и самому нужна винтовка. Все бы хорошо, но Толя знает, что через недельку-другую этот новичок станет настоящим партизаном. И увидит, какой тут партизан Толя.

Тошно будет вспоминать, как уважительно смотрел на тебя этот седой человек, как авторитетно вводил ты его в партизанскую жизнь. И это пришло даже раньше, чем Толя предполагал.

Вашкевич, вернувшись из штаба, приказал дозарядить диски к ручным пулеметам.

– Бог подаст, – сердито отмахивается Носков от Головчени, который, сняв шапку, собирает патроны. Но Головченя знает, что он – не просто он, он – пулемет, главная фигура боя. И улыбается уверенно: «Хошь не хошь, а дашь». Весело ему чувствовать себя молодым бородатым нахлебником-цыганом.

– Позолоти ручку, молодец.

Толя тоже отдал обойму. Не жалко, а неловко. Будто откупается. Сегодня он опять остается в лагере. И главное – не очень огорчен этим. Вдруг начинает казаться, что именно на этот раз могло бы случиться непоправимое. Сидел, не ходил, столько терял, а тут сразу и подсунешься. Что-то особенное намечается, даже тачанку со станкачом берут. И лица у всех какие то непривычно серьезные.

Молчаливый, вечно дымящий сигаркой парень (кажется, Пархимчик – фамилия его) потянулся к гармошке. Но раздумал:

– Придем, тогда...

А Толя вдруг подумал, что за все время он и словом не обменялся с этим парнем. А ведь Пархимчик – партизан. Как восторженно смотрел бы Толя в неулыбчивое круглое лицо, как рад был бы рисковать по первому слову этого парня, если бы встретил его где-либо возле своей Селибы месяца два назад. Толе вдруг захотелось заговорить с ним. Но парень уже стал в строй.

Выстроились возле землянки, и сразу видно, кто остается. Толя уловил на себе удивленный, как ему показалось, взгляд новичка Шаповалова. На плече у Шаповалова сумка с пулеметными дисками. Рядом с его белой головой борода Головчени особенно отливает смолю. Любят пулеметчики всякий маскарад. Вон и Помолотень, который при станкаче, тоже молодой, а усы отпустил. Светлые, пшеничные.

– Вымажь усы дегтем, – не раз советовал ему Носков, – а то лошадок вы с ездовым, как немцы пленных, кормите, не заметишь – сжуют усы-то.

Сегодня без усмешечек, ревниво-внимательно глядят партизаны на пулеметную тачанку. Ездовой Бобок все ходит возле

своих не очень сытых лошадок, поглаживает их по крупу, будто от этого они справнее сделаются.

Мама в строю самая крайняя, на левом фланге. Она в своей плюшевой старенькой жакетке, под рукой – большущая санитарная сумка. Тень лежит на ее лице. Лицо Нади такое же отрешенно-серьезное, она тоже с сумкой, в мужском сером плаще. Косы уложены вокруг головы.

На другом фланге стоит, привычно опустив плечи, Алексей. Смотрит прямо перед собой.

Командир взвода прошел вдоль строя. Объявил: через десять минут общее построение. Куда пойдет отряд, не говорит. Да и знает ли сам? Никого не обижает, что это тайна. Наоборот, спокойнее. Больше уверенности, что язык не обгонит ноги.

Мама вышла из строя и сразу заулыбалась Толе. Надя смотрит издали. Ее малые, Инка и Галка, остались в гражданском лагере, и похоже, что Надя смотрит на Толю потому, что не может сейчас видеть своих.

Вполголоса мать объясняет, как быть ему, Толе. У Павловичихи два чемодана спрятаны. Там есть синие брюки. И белье. Пускай Толя сходит. С кем-нибудь, попросит кого-либо...

Мать объясняет очень подробно, и начинает казаться, что то, о чем она сейчас говорит, действительно самое главное. Или, может быть, улыбка ее – успокаивающе тихая – мешает понять до конца страшный смысл ее слов.

– В желтом чемодане подошвы... Хорошие, кожаные, еще папа доставал. Попросишь Берку, я с ним говорила, сделает тебе сапоги. А то твои совсем...

И Толя смотрит на свои сапоги, поспешно кивает головой.

Снова все, кроме Толи, стали в строй. Толю вдруг оглушила мысль, что мама действительно может не вернуться. И Алексей может не вернуться. Толя смотрит на них, они еще здесь, непоправимое еще не случилось. Но где-то там, впереди, на десять, на двенадцать часов впереди, все словно уже и произошло.

Конец ознакомительного фрагмента

Эту книгу Вы можете взять:

- в отделе абонемента по адресу г. Оренбург, ул. Правды, 7
- в читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20.

Получить доступ к электронной версии книги Вы можете в электронном читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20, 2 этаж.